



ДАНИИЛ ГРАНИН

писатель, лауреат Государственной премии СССР и премии Гейне, Герой Социалистического Труда, награжден орденами Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Дружбы народов; учредитель Международной ассоциации «Русская культура»

ИЗ КНИГИ «СКРЫТЫЙ СМЫСЛ»

Друг мой Алесь

Кажется, это было в 1976 году. Приехал в Ленинград Алесь Адамович, чтобы уговаривать меня писать «Блокадную книгу». Он был на волне успеха, только что вышла книга, написанная им вместе с Янко Брылем и Владимиром Колесником «Я из огненной деревни». По примеру этой книги он хотел записать рассказы ленинградских блокадников. Мы с ним были едва знакомы. Где-то я его видел, на каких-то писательских встречах, что-то мы говорили. Правда, прочитав его «Хатынскую повесть», я написал о ней рецензию в «Новом мире». Редкий для меня случай, рецензия не мой жанр, но повесть меня взволновала, в ней была беспощадность, честность и то особое видение войны, которое может быть только у участника невыдуманных событий, к тому же художника.

Писать книгу про блокаду я отказался; тема была исхоженной, какая-то замыленно-плоская... Ну голодали, ну умирали, трупы на саночках, вода из проруби. Стук метронома. 125 граммов хлеба — набор блокадных клише к тому времени достаточно приелся. Герои у станков, обстрелы и бомбежки, неслыханный подвиг ленинградцев...

Блокада для меня была явью, несколько раз я бывал в городе в 1941–1942 годах, приходил пешком с фронта, а в 1942 году наш батальон стоял на Охте, по сути, в городе, блокадная жизнь билась в ворота нашей части. Про эту блокаду никто не писал, и я не собирался. Я вообще не хотел про войну. После повести «Наш комбат» мне отбили охоту заниматься военной темой.

Адамович упрашивал. Я предлагал ему других соавторов. Познакомил его с литератором Дмитрием Хренковым, с журналистом Борисом Фельдом. Алесь был с ними мил и продолжал вербовать меня. Он доказывал, что дело это не журналистское, а писательское. Очевидно, предыдущая работа привела его к этому убеждению, между прочим, весьма любопытному. Мы потом не раз возвращались с ним к осмыслению жанра документальной прозы. Документальность близка к журналистике, к историкам, но где проза, где ее место, какое оно? Соединение это требует писателя-прозаика, оно, оказывается, энергично отторгает и журналиста, и историка. Проза — это цемент, который позволяет не просто складывать кирпичные стенки, а создавать архитектуру.

Однажды он уговорил меня поехать к своей землячке из Белоруссии, блокаднице. Взяли с собой магнитофон. Знакомая его не сразу согласилась вспоминать пережитое. Алесь, однако, сумел ее зацепить вопросами, и вскоре она разошлась. Возможно, у них была какая-то предварительная договоренность. Он был вообще не так бесхитростен, как казалось. И со мной, и с ней он вел себя как хороший психолог. На меня, например, произвела впечатление свежесть ее рассказа, насыщенного бытовыми подробностями блокадной — оказывается, неизвестной мне — жизни. Молодая девушка, влюбленная, ее жених на Ленинградском фронте, начинается голодуха, она ходит к нему в часть, он ходит к ней домой, что-то происходит с ним и что-то с ней. Это была блокада, которой я не знал. После белоруски произошла встреча с другими блокадниками. Передо мной открывался глубокий пласт жизни, неизвестной, исполненной не подвигами, а страданиями, одолениями этих страданий, страхов, потерь. Я все еще сомневался. Я никогда не имел соавтора: как это писать вдвоем? Много было против совместной работы. И к тому же я сидел над романом. Почему же я согласился? Пожалуй, как я потом понял, мне понравился Адамович, все решило его обаяние, которое он щедро расточал, привлекая меня. Короче говоря, ему удалось обольстить меня своим одушевлением, восторгом перед Ленинградом и ленинградцами.

Он тут же ринулся в работу, увлекая меня; мы понимали, что если делать эту книгу, то делать надо не откладывая, память уходит, и люди уходят.

Поражала смелость, с которой он взялся за совершенно незнакомый ему материал, он не знал города, не знал блокады, не знал людей, он был совершенный новичок в питерской жизни. Его это не смущало. Наоборот, он даже обращал наивность в свое преимущество: да, он приезжий, но хочет рассказать про блокаду, понять ее свежим чувством постороннего человека.

Его незнание часто оборачивалось смешными промахами, ему помогал его необидчивый, благодушный (в то время) характер. Он поселился в Ленинграде, снял комнату, мы купили ему магнитофон и разделились,

желая скорее охватить больше людей. По вечерам сходились у меня дома, обсуждали трофеи. Сбор длился месяц за месяцем, мы не могли остановиться. Рассказы блокадников не повторялись — каждый имел свое, особенное. Однажды Алесь заболел, слег. Я носил ему книги. Просил он не развлекательную литературу, а философию: Шестова, Ницше. И потом, когда он выздоровел, он обшарил всю мою библиотеку, выискивая прежде всего запретное — Бердяева, Шопенгауэра, Розанова. 1977 год!

Время от времени он уезжал в Минск, возвращался, и мы вновь пускались в путь из квартиры в квартиру. Мы установили с ним, что из десяти рассказов в среднем бывают три хороших, а один очень хороший, а то и гениальный. Я помню, как он был счастлив, как хвастался, записав рассказ Марии Ивановны, который вошел в книгу отдельной главой: «Эта бессмертная Мария Ивановна». Работать с ним было легко. Мы не разделяли «мое» и «твое», как-то естественно все сразу обобщалось, никто не подсчитывал затраченного труда, кто больше, кто меньше, да и затраты денежные — на машинисток, на кассеты — тоже не разделялись. Он относился к тем людям, с которыми хочется состязаться в щедрости.

Материал накапливался, и пора было начинать сборку книги, найти драматургию. Вот тут-то начались споры и ругань. Поскольку ни у кого идеи не было, постольку мы были непримиримы и вымещали свое безмыслие друг на друге. Нужна была философия книги, то есть, если по Ницше: «Искание всего странного и загадочного, что до сих пор было гонимо моралью».

Я вспоминаю не историю написания книги, а историю нашей работы. Спорить с Алесем было весело. Мы сходились, расходились, никогда не ссорясь. Его белорусский акцент располагал к себе людей, кроме того, он умел находить глубинные вопросы, спрашивать о существенном. За год с лишним работы над первой частью Алесь заметно «обленинградился». Все же Питер оказывал свое влияние, тем более что общались мы с коренными питерцами, с историками, служителями Эрмитажа, архивистами, инженерами. С той рабочей прослойкой, которая составляет душу города. Мы двигались из семьи в семью, погружаясь в прошедшие годы потерь и неразрешимых нравственных проблем. Мы забирались с ним в такие тупики человеческих низостей и страданий, откуда не было выхода. Истории, которые мы выслушивали, поражали нас невыносимой запредельностью переживаний, о них невозможно было писать. Казалось бы, перед правдой жизни нет никаких преград, мы оба считали себя ее бесстрашными рыцарями: чего нам бояться, и друг перед другом не хотелось робеть, и, тем не менее, мы отступали. Мы поняли, что есть вещи, о которых писатель не должен рассказывать, есть предельность человеческих мук. Нам ее выкладывали, люди старались как бы отделаться от ужасов памяти, но нам написать и тоже отделаться не удавалось. Немудрено, что эта работа измучила нас так, что мы оба болели, нервная нагрузка становилась непосильной.

Это была великая школа жизни. Я не жалел времени, открывая Алесю доступные мне тайны ленинградской жизни, которая в те годы еще имела свои подполья, свою сокровенность. Временами мы расходились, наша приязнь как бы истощалась. Меня раздражала его провинциальность, его

стилевая глухота, его назойливая публицистичность, его раздражала моя питерская заносчивость, медленность моей работы. Ума не приложу, как мы не разошлись; нас, однако, связывала уже не только эта книга, все чаще мы ощущали общность своих гражданских чувств, дружба обретала фронттовую прочность. Круг его друзей и моих друзей соединялся — Карякин, Лазарев, Быков, Дудин, Климов, Оскоцкий...

Каждый писал свою главу, потом мы менялись рукописями, черкали чужой вариант, доказывали, что он никуда не годится, переписывали по-своему.

Постепенно мы подходили к мысли, что духовность была одной из главных особенностей ленинградской эпопеи, не патриотизм, а, скорее, стойкость интеллекта, протест перед унижением голода, расчеловечивания. Не просто сопротивление осажденных, а сопротивление интеллигенции как слоя людей нашего общества, может быть, наиболее стойких и сильных в критических условиях. Выживали люди, наделенные интеллектом, моралью, — они держались дольше, они были сильнее.

Спасались те, кто спасал других. Помогало искусство, культура. В блокаду писали стихи, вели дневники...

Одно за другим нас настигали открытия. Я вспоминаю о них потому только, что открытия эти вошли в последующую жизнь Адамовича неопровержимыми аргументами, он пользовался нравственным опытом блокады в своих выступлениях, в публицистике.

Иногда мы уезжали с ним для работы в Дома творчества, один раз поехали в Карловы Вары. По тогдашним моим нравам Алесь был плох тем, что не пил водки. Посторонние этого почти не замечали. Он не отказывался, наливал себе стопку, произносил тосты, чокался, высмеивал малопьющих, но сам не употреблял ни капли. Некоторые считали его хорошим собутыльником.

Он сидел на диете, ограничивая себя во всем, кроме отзывчивости к происходящему вокруг. Его писательское дарование состояло в умении распознавать у людей бессловесные движения души. Каждого человека он взвешивал на весах подлинности и показывал мне, кто легок, кто тепел, а не горяч; от него не укрывалось лицедейство, фальшь пышных заявлений, личины, которые носят наши знакомые. Он открывал глаза мне и многим другим на деятелей горбачевского, а затем и ельцинского времени. Вот бородатый литературовед, который до Горбачева перешел из диссидентствующих к русофилам, поскольку там посулили ему издания и хлебное местечко, пожировал у них, затем подался обратно в демократы — кочевник, пасется, у кого больше дадут. Другой политик делает себе карьеру горлом, бесстрашно разоблачая, обвиняя павший режим... Но эти расправы шли попутно: по мере того как разворачивалась перестройка, нарастала и борьба с ярыми сталинистами-коммунистами. Можно вспоминать, сколько сил потратил Алесь, защищая Василя Быкова от клеветнических измышлений некоего Севрука, цэковского деятеля брежневских времен. Впрочем, почему брежневских — этот непотопляемый Севрук при всех режимах оставался верен своей ненависти к писателям типа Быкова и Адамовича,

которых не удалось приручить. Будучи у власти, он все делал, чтобы запретить издание их книг. С великолепным лицемерием (какой артист пропадает!) изъяснялся при этом в любви к своим белорусским землякам.

Воевать с начальниками из ЦК, из Комитета по делам печати было невыгодно, но Алесь, как и позже, не мог совладать со своим гражданским темпераментом. Его то и дело бросало в бой. В конце горбачевской перестройки, когда надежды сникли, Алесь признался мне, что единственная возможность, которую он видит для себя, — это возглавить радио и телевидение, решающий рычаг политического влияния. Это точка опоры, опираясь на которую он брался перевернуть сознание общества.

Я считал его желание законным — уверен, что, если б ему дали эту должность, он многое сделал бы, — я даже обратился с этой просьбой к главному идеологу страны А. Н. Яковлеву, тогда члену Политбюро. Как я понимаю теперь, Горбачев не пошел бы на такое назначение, несмотря на все его заигрыши с Алесем. Слишком самостоятелен был Адамович, генсеку нужны были люди управляемые, которые полностью вписывались бы в систему его взглядов, никому не известную, но, как у всех генсеков, подчиненную задаче обретения послушных, верных, подчиняющихся исполнителей.

Интересно, что в 1994-м радио и телевидение возглавил А. Н. Яковлев, и никаких коренных перемен, никаких ощутимых результатов ему не удалось достичь. Может, и Алесю не удалось бы то, что он хотел; трудно измерить косность нашего аппарата, сволочная вещь История — не поддается никаким экспериментам, не имеет вариантов, совершенно однолинейная, одновариантная штука... Но тогда искушение и соблазны быстрых перемен кружили головы. И горячая натура Алесь воспламенялась множеством политических проектов. В нем боролся писатель и реформатор; литературные замыслы, ненаписанные повести, эссе соперничали с реформами, которые он жаждал ускорить. Он выступал на митингах, по телевидению, на съездах депутатов; когда мы шли с ним по Москве, его узнавали на улице, останавливали. Его мучил литературный вариант сахаровского комплекса — гениального физика и выдающегося политика. У Адамовича талант писателя соединялся с талантом трибуна, публициста, политика реального дела. У него это тоже зиждилось на высокой нравственной основе, по ней и допустимо сравнивать его с таким исключительным явлением, как А. Д. Сахаров.

В связи с Сахаровым вспомнился мне московский международный форум «За безъядерный мир, за выживание человечества». Февраль 1987 года, Андрей Дмитриевич только что вернулся из горьковской ссылки и присутствовал на конгрессе; если не ошибаюсь, то был первый его «выход в свет». К нему обращались иностранные корреспонденты, заграничные гости, но, когда они отходили, Сахаров оказывался один, и становилась видной зона страха, окружавшая его. Наши боялись к нему подходить. Я замечал, как академики, ученые отводили глаза, старались не встречаться с ним взглядами. Тягостное и достаточно наглядное зрелище нравов нашей научной среды. Подчиняясь исключительно чувству стыда, я подошел к Андрею Дмитриевичу, заговорил с ним. Мы были незнакомы, не могу утверждать, что он обрадовался, но все же разговор был хороший. Краем глаза я заметил, как

нас стали снимать репортеры, и те, кто мог попасть в кадр, быстро расходились. Остался один Адамович, я подозвал его, познакомил с Сахаровым. Алесь был в восторге. Ни на мгновение его не смутили вспышки фотоблицев, он даже гордился тем, что стоит рядом с Андреем Дмитриевичем. В нем, в Адамовиче, совпадали мужество военное и гражданское, два совершенно разных мужества.

Я не раз думал, был ли прав Алесь, столько сил, нервов, времени отдавая политической жизни. В его судьбе отразилось характерное противоречие нашего поколения. У него — наиболее остро, драматически. И одна из первых его вещей — «Хатынская повесть», и последняя его вещь «Vixi» («Прожито») убеждают в наличии отдельного голоса, свойственного только ему, Адамовичу, этого важнейшего писательского качества. Он был непохож на всех других писателей, и, разрабатывая свой талант не отвлекаясь, настойчиво, неустанно, голос его звучал бы куда громче. Последние годы он рвался из политики в литературу, уходил и возвращался, изгоняя из себя «страсти по Ельцину», «страсти по межрегионалке» и т. п. Изгонял, а они снова настигали его. Повесть «Vixi» принесла ему удовлетворение. Безошибочным авторским чутьем он знал о своей удаче. Высший судзыскательного художника требовал отдать всего себя писательскому призванию. Возможности его таланта были далеко не реализованы. А политическая борьба не отпускала — пресловутые понятия долга, требования единомышленников, соратников, очевидность происходящих несправедливостей, наглое присвоение общеписательского имущества Литфонда...

Драма Адамовича (которая обернулась трагедией) характерна для целого поколения художников, захваченных мечтой о создании строя социальной справедливости, тех, у кого душа изболелась от гнусностей коммунистического рая. И здесь не скажешь: вот, мол, как неправильно он распорядился своей жизнью. Его гражданская, политическая отдача была примером нравственного бескорыстия, и он погиб в этом служении людям и идеям добра. Он был из тех немногих, кто защитил честь писательского звания, как по-другому это делали Владимир Короленко, Александр Солженицын.

Все так, все правильно, и все же, когда я перебираю книги Алеся, мне грустно — их мало, слишком мало, а все остальное: его выступления, его защита демократии в октябрьские дни девяносто третьего года у Белого дома, его депутатство — все зарастает, улетучивается, смутно тлеет на задворках памяти. Я говорю себе, что это не так, но горечь не покидает меня.

Обструкция

Выступил от комсомола воин-афганец, секретарь горкома комсомола одного украинского города, он же инвалид афганской войны. Говорил горячо, обвиняя всех (Горбачева за то, что не дал политической оценки афганской войны, а «старших товарищей» за то, что не оставили молодежи «хоть каких-нибудь приличных идеалов»), больше всего досталось А. Д. Сахарову как противнику афганской войны.

Пафос его, нарочито агрессивный, вызвал горячие аплодисменты. Еще бы, покушаются на святая святых, героическую нашу Советскую Армию! И кто, Сахаров — человек невнятных взглядов, с репутацией не то диссидента, не то инакомыслящего — верит вражеским радиопередачам. Нравилось, что он не стесняется поносить академика, великого ученого — смельчак. «На каком основании Сахаров дал интервью канадской газете о том, что будто в Афганистане наши летчики расстреливали попавших в окружение своих советских солдат, чтобы они не могли сдать в плен?» Вместо того чтобы опровергнуть это утверждение, он возмущенно говорил про унижение чести, достоинства героев Советского Союза, которые до конца выполнили воинский долг.

Заодно он сетовал на то, что воинам-афганцам не дают детских колясок без очереди, не дают мебели и квартир.

Слушая это, я думал о том, какая все же разница между ветеранами Великой Отечественной войны и «афганцами». 45 послевоенных лет живут, доживают век бывшие мои однополчане, так и не дождались хороших протезов, доживают в коммуналках, в инвалидных домах, топали на деревяшках, безногие катались на самодельных тележках. Ругались, жаловались, но понимали, что не ради льгот мы воевали.

Рок — штука неразгаданная, вроде совести. Почему-то совесть не бывает ложной. Если она грызет, то будьте уверены — за дело.

Мартин Лютер, самый решительный из теологов, заявил, что совесть — глас Божий в создании человека. Глас этот звучит независимо от церкви. Слышат его одинаково и католики, и протестанты, верующие и неверующие.

Словно со стороны раздается: «Нехорошо, братец, так поступать, некрасиво!» То шепотом, то хмуро, то воплем: «Тьфу, как не стыдно, чего же ты делаешь!» Ночью будит, достает. Может, и вправду совесть — свидетельство Божественного происхождения человека. Досталась она нам от Адама, от первородного греха. Стыд не случайно был первым чувством, которое отличило человека от остальных живых тварей.

Они, Адам и Ева, прикрылись фиговыми листьями, и стыд прошел. Стыд был запретом. В фильмах мужчины и женщины африканских племен носят набедренные повязки. Меня всегда это озадачивало — зачем? Это что, признак цивилизации? Или потребность человека, или наличие того высшего начала, что дано было человеку при сотворении мира, когда Господь спросил Адама: «Кто тебе сказал, что ты наг?»

Ни у Курчатова, ни у Флерова участие в работах над атомным оружием не вызывало моральных сомнений. Не было у них того, что испытывали Нильс Бор, Сцилард, Эйнштейн, — душевного протеста.

Приходится считать, что нравственное мышление в сороковые–шестидесятые годы у нас еще не очнулось. «Проблемы вашей научной совести берет на себя ЦК» — примерно так успокаивало наших физиков начальство.

С какого-то предела Сахаров не смог отмахнуться от этой проблемы. Харитон, Зельдович — тоже великие физики, люди высокой порядочности — безмолвствовали. У Сахарова же вырвался протест. Диктат совести одних посещает, к другим не достучаться. Никто не знает, почему одни люди

получаются порядочные, а другие — нет, почему в одних и тех же условиях один поступает порядочно, другой подло. Есть благоприобретенная порядочность, но есть и врожденная совесть. Война, блокада показали, какая сила заключена в природной бессознательности порядочности.

В. Короленко писал: «... Мне часто приходило в голову, что очень многое у нас было бы иначе, если бы было больше той бессознательной, нелогичной, но глубоко вкорененной нравственной культуры».

В перерыве я разыскал Сахарова, он стоял со своей женой; я понимал, что они расстроены, я не стал утешать их и, чтобы поддержать, пригласил их отдохнуть перед вечерним заседанием у меня в номере гостиницы «Россия».

Андрей Дмитриевич удивился — отдышаться, успокоиваться, можно подумать, он не заметил никакой обструкции. Все, что происходит, — это в порядке вещей; он огласил свою правоту, ему удалось сказать то, что надо, депутаты поймут, в этом он был уверен, как бы то ни было, он исполнил свою миссию.

Выглядел он все же устало, я думал, почему он должен отдуваться один за всех нас, ему что, больше всех надо? Но тут же подумал и о том, выступи я — и слова были бы слабее, и реакция не та. Выступил великий ученый, человек, пострадавший за Афганистан, выступил не для того, чтобы спорить с депутатом, он выступил — объявить преступным наше правительство. Им управляла его совесть. У совести нет разума, она, скорее, инстинкт, она не думает, в этом ее сила. В своих воспоминаниях Сахаров назвал первое свое выступление интуитивным. Оно произошло еще во времена Хрущева, на академических выборах. Выдвигали в академики пособника Т. Лысенко, некоего Н. Нуждина. Известен он был, прежде всего, как гонитель генетики. Общее собрание должно было утвердить его кандидатуру. Чисто формальная процедура, ибо все было на отделении согласовано, а сверху — рекомендовано. И вот тут попросил слова Сахаров, совсем не биолог, успешный физик, занятый далекими от лысенковщины вещами. На этом собрании его вдруг поразила безнравственность того, в чем его заставляют участвовать. «Вдруг» — для окружающих, но еще больше для него самого, вот что примечательно!

«Почему я пошел на такой несвойственный мне шаг, как публичное выступление на собрании против кандидатуры человека, которого я даже не знал лично? — писал Сахаров в своих воспоминаниях. — Решение возникло интуитивно, может, в этом и проявился рок, судьба».

Нуждина провалили.

На следующее утро после того неприличного скандала вокруг выступления Сахарова в кулуарах съезда было заметно смущение. Про вчерашнее помакивали, словно стыдились учиненного.

— Погорячились, — сказал мне один деятель из президиума съезда.

— Хоть бы извинились, — сказала я. — Для чего вы там восседаете?

Он вскипел:

— Получится, что мы перед афганским народом извиняемся. Думаешь, нашим это по душе: «Извините, напрасно миллион перебили»... Не дожили мы еще до этого.

Потом добавил:

— Тогда надо и перед чехами извиняться, и перед венграми... Никакой извинялки не хватит.

Видимо, его зацепило, потому что позже он, разыскав меня, сказал, что, если б Сахаров не придумал ядерное оружие, наши генсеки сидели бы тихо и не совались куда не надо, а то возомнили, что им все можно.

— Так что у твоего Сахарова рыльце тоже в пушку.

Извиняться у нас не любят, просить прощения тем более. «Мы ни при чем, то был СССР, другая страна, другое правительство; мы не отвечаем за то, что они творили в Катыни, в Чехословакии, в Венгрии, в Прибалтике, не хотим просить прощения и у своих народов, высланных с Северного Кавказа, из Калмыкии, у немцев Поволжья».

Они не отвечают, а папа римский от имени Церкви счел возможным извиниться за все преступления против православных христиан, за неправоту в осуждении Галилея, за действия против протестантов, за трусость отдельных христиан в годы преследования евреев нацистами. Он вспоминает один за другим грехи католической церкви и просит за них прощения. Для него нет срока давности.

Правители России не хотят отвечать за грехи и преступления советских властей. Сидеть в Кремле им нравится, Россия для них начинается лишь с момента их прихода к власти. Так удобнее. С какой стати им брать на себя прошлые грехи?

Великие способности ученого-физика сочетались у Сахарова с не менее великим талантом доброты. Для меня доброта — это, несомненно, талант, это счастливый дар природы. На протяжении всех лет своих правозащитных дел Сахарову доставалось, может, как никому другому. Его оскорбляли, на него клеветали, его физически мучили, чего только не позволяли себе наши доблестные чекисты, начиная с мелких пакостей (прокалывали резину его машины) и вплоть до насилия при его голодовке в Горьком. Когда я читал его воспоминания, меня поражало, что нигде он не сводит счеты со своими гонителями. Однажды лишь упоминает о пощечине некоему А. А. Яковлеву за оскорбление жены, Е. Бонэр. Нетерпимость у него удивительно соединена с толерантностью, умение прощать — с требовательностью. Д. С. Лихачев прав, когда утверждает, что доброта не бывает глупой, она вне оценок с точки зрения ума или не ума. Вспомнив слова Лихачева, я не могу не привести его рассказ о том, как после возвращения из горьковской ссылки Сахаров и Лихачев встретились перед началом международного форума «За безъядерный мир». Лихачев спросил Андрея Дмитриевича, как он встретится сейчас с академиками, теми, что подписали отвратительное письмо против него.

— Ужасно волнуюсь, — ответил Сахаров. — Наверное, они будут чувствовать себя очень неловко.

Как-то на пляже, в Дубултах, я прочел в «Известиях» письмо академиков, выступивших против А. Д. Сахарова из-за его осуждения войны в Афганистане. 72 члена Академии наук СССР подписали это постыдное письмо, осуждая Сахарова, не стесняясь в выражениях. Академия надолго опозорила себя. Впоследствии академики оправдывались так: «Нам выкру-

чивали руки»; «О, если б вы знали, чем они угрожали». Действительно, насильствовали, прессовали, на себе испытал, но ведь далеко не все поддавались. Математики, например, отказались подписывать, и П. Капица, и Д. Лихачев, и Зельдович, и Гинзбург, и Канторович. Никого из них за это не заточили в тюрьму, не выслали, не уволили. Грустно, что среди подписантов были хорошие ученые — Прохоров, Дородницын, Тихонов, Скрыбин. Называю этих четверых, потому как они специально выступили в зарубежной печати, назвав Сахарова клеветником.

Эн из Энска

Писатели общались между собою либо в Союзе писателей на собраниях, в секциях (удовольствие от этого бывает редко), чаще же в поездках. Там каждый раскрывается полнее, неожиданно.

Николай Иванович впервые попал за границу. Да еще в Японию. Да еще в составе весьма чтимой делегации, которую возглавлял председатель Союза писателей СССР, сам Алексей Александрович Сурков. Делегация маленькая, четыре человека. Николай Иванович подсел к нам в Хабаровске.

В аэропорту Токио нас торжественно встречали, начальство обменялось речами, приветствиями; потом отвезли в отель, познакомили с программой, и началось путешествие с переездами, приемами, цветами, ночными прогулками. Новый город, новый отель, далее привычный ритуал, неизменно повторяющийся: те же улыбки, те же радушные фразы, заверения, те же подарки, та же трапеза.

В очередной раз в очередном отеле глава делегации обратил внимание на желтый чемодан, обмотанный толстой веревкой. «Это чей?» — поинтересовался он. Оказалось, чемодан был Николая Ивановича. «А веревка к чему?» Николай Иванович пожался, покряхтел, затем признался, так, мол, и так, не доверяет он; тут капитализм, полно жулья, человек человеку волк, может, и похуже, поэтому он для маскировки обмотал чемодан, пусть думают, что колхозник какой-нибудь, деревенщина прибыл, с него взять нечего, а то ведь в отелях этих нести чемодан самому не дают, хватают мальчишки и на тележке укатывают. Чемодан лишен сопровождения, он должен как-то за себя постоять, веревки ему вроде маскхалата. А так чемодан новенький, крепкий, не посрамляет... Несмотря на его доводы, глава приказал веревки снять, что Николай Иванович исполнил, но страх его при виде увозимого боем чемодана возрос, Николай Иванович рванулся было последовать за ним, остановил себя, ибо был человеком долга и общественный интерес ставил выше личного. Вообще, по мере того как я знакомился с Николаем Ивановичем, он пробуждал во мне все больший интерес. Наивность его могла москвичам казаться глупостью, человек же, знающий нашу провинцию, постигал через него многое. Вечером Николай Иванович постучался ко мне в номер. Вид у него был удрученный.

— Вы заметили, дорогой мой, похоже на провокацию... Они каждый день меняют простыни и обе наволочки.

— Ну и что? — не понял я.

— Что же, они думают, что мы, русские, такие грязные?

Ночью мы, пользуясь свободой, уходили с ним вдвоем гулять. В нашей маленькой делегации мы были рядовые члены, вечерние приемы и переговоры на высшем уровне нас не касались. Гуляя, мы направлялись в центр, на людные, сияющие рекламой улицы, с распахнутыми настежь кафе, ночными заведениями, сворачивали в проулки, где всю ночь торговали магазинчики, заваленные джинсами, беретами, кроссовками.

Николай Иванович удивлялся, вздыхал, ненасытно смотрел и смотрел. Какая-то тоска одолевала его. Чем дальше — тем сильнее. Иногда казалось, что это все показуха, выставленная чуть ли не специально для нас. Он стремился все дальше, в слабо освещенные проулки, словно надеялся там застать что-то врасплох. Там были ночные клубы, казино, шныряли какие-то тени, что-то предлагали, обнимались парочками, трудились рабочие, которые опорожняли блестящие черные мешки с мусором.

Что так мучило его? Под секретом он сделал нелепое признание: что же ему рассказывать, когда он вернется домой, в Н-ск? Тот японский капитализм, который он видел, никак не годился для рассказа. Не мог же он делиться этим восторгом: рокадными дорогами, автострадами, многоэтажными виадуктами, изобилием товаров, фруктов. Где, где, спрашивал он, тот капитализм, про который им рассказывали, который они изучали, гниющий от кризисов? Где чудовищные контрасты, где нищета и безысходность жизни? Он не хотел врать. Рассказать правду боялся. А ведь его спросят, его заставят выступить в библиотеке, на партактиве. Что ему делать? Он был в смятении, простодушие мешало ему, то есть он мог, конечно, наговорить положенного, врать мы все умели, без вранья в эти годы прожить никто не мог, каждый должен был произносить ритуальные фразы, выражать согласие, поддержку. Николай Иванович, однако, страдал оттого, что он искренне всю жизнь верил в близкую гибель капитализма и теперь никак не мог обнаружить признаков гибели. Мы ходили по заводу «Ниссан», и там капитализм процветал, не корчился, не стонал... Вот в чем трагедия. Спустя два дня после этого признания Николай Иванович принес мне шариковую ручку, черную, перевернул ее, и там какая-то темная жидкость внутри медленно сползла, открывая обнаженную красотку, груди, животик и далее все что полагается. Такие ручки давно появились в Москве. Николай же Иванович такую ручку увидел здесь впервые, подивился изобретательному бесстыдству японцев, не удержался, приобрел ее, и затем блестящая идея осенила его: а что если купить таких ручек с десятков, благо недорого, даже по нашим средствам, и дарить их местным начальникам города Н-ска. Сей карандаш покажет, как разлагается капитализм, развращая даже школьников, которые покупают такие ручки, а как же иначе, вроде мелочь, деталь, но как капля воды... И начальству интересно, и не просто подарок, а идеологический акт, вещественное доказательство, до чего дошли сукины дети.

Идея его была одобрена, партия ручек закуплена, и, по моим сведениям, все сработало как нельзя лучше.

Личной драмы это, конечно, не решило. Капиталистическая Япония обманула все ожидания Николая Ивановича. После этой поездки он надолго перестал писать.

* * *

У меня есть максима, которой я стараюсь следовать, последнее время все чаще, хотя делать это все труднее: «Другие имеют право быть другими».

Просто, не правда ли? Что может быть очевиднее? Другому может не нравиться Пушкин, гречневая каша, запах рыбьего жира — нельзя за это прекрывать и вообще считать этого типа недоразвитым.

Так-то так, а все никак. Едем мы на туристском пароходе. Чего-то по радио поясняет гид насчет берегов, какие там прелести. Что именно говорит, не разобрать, крик стоит кругом, итальянские туристы общаются. Мы с приятелем идем на корму, там еще хуже — китайцы, у них голоса зычные, их много, к тому же они толкаются грубовато, на замечания мило улыбаются, раскланиваются, и прут по-прежнему, и так же проталкиваются. Мой приятель успокаивал меня: может, они живут в провинциях переполненных, где так общаются, иначе не услышат, иначе не пройти...

Спустились в салон. Там свой гомон, крик — это евреи из Израиля. Размахивают руками, гогочут. Казалось бы, имеют право, ведут себя свободно, так привыкли. Почему, спрашивается, они должны придерживаться наших правил? Но считаться с окружающими, не мешать другим... А если у них не такие правила учтивости?

Грузины, люди древней культуры, у них, когда гости, своих женщин за стол не сажают, ну и что, это их обычаи. Есть традиции, есть правила у каждого народа, выработанные тысячелетней практикой. Народы Ближнего Востока не едят свинину. Итальянцы любят макароны, русские — всевозможные грибы, а немцы предпочитают шампиньоны. Мне нравятся китайские и японские правила есть палочками, нравится голубизна мусульманских мечетей, нравится вдумчивый покой узбекской чайханы. Многое что нравится в жизни других народов. Там, конечно, есть и то, что мне непонятно, несимпатично, когда на Востоке мужчины сидят вдоль улицы на корточках, или женщина в чадре, но я не вправе судить подобные обычаи.

Будучи в Норвегии, моя знакомая с неудовольствием отметила, как темнеет ее столица, как много появилось там пакистанцев, водители такси сплошь пакистанцы. И вообще, однородность населения, норвежская гомогенность этого небольшого народа разрушается. В уютности страны появилось нечто неприятное. Что же это — докапывался я; она призадумалась, попробовала объяснить — пожалуй, чувство опасности. У них другие понятия, другие правила общения, другие ценности.

— Я приехала в Норвегию, к норвежцам, я хочу общаться с ними. А тут все такси...

Я вспомнил Париж, как он потемнел, да и Лондон, вспомнил Берлин, где всюду слышна турецкая речь. У меня тоже появилось малоприятное ощущение настороженности, встречи с чужим. Кроме того, что это *другие*, появилось и *чужие*.